

Увы! блондинка напомнила ему жену — и вечер был испорчен.

Бедный больной и вообще-то теперь почти ничего и никого не мог терпеть. Он и самого себя выносил с трудом; тяготился известностью, почти обижался, когда в нем видели не Михаила Иваныча, а композитора, и сердился, когда заговаривали об его сочинениях. [...]

И Глинка[...] захирел и погас, как светильник, устроенный не для того, чтоб тлеть, но чтоб гореть пламенно и сокрушительно — или уж не гореть вовсе<sup>4</sup>.

А. Я. ПАНАЕВА

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

...Старшие мои сестры и тетки вели затворническую жизнь, всегда сидели в своей комнате, им не дозволялось входить в зало, когда по вечерам собирались гости. Отец и мать<sup>1</sup> обедали с гостями отдельно. Этот порядок мать завела давно, как только дети стали подрастать. Но Глинка нарушил это затворничество. Панаев его познакомил с отцом. Глинка ставил свою оперу («Жизнь за царя»), и у нас устраивались спевки и репетиции: приезжали Петров, Воробьева, Леонов (Шарпантье), Степанова, Панаев, младший сын Гедеонова (еще студент)<sup>2</sup>, камер-юнкер Хрущев, состоявший по особым поручениям у министра двора, автор либретто оперы барон Розен, не пропустивший ни разу этих собраний. Он упивался своими стихами и посматривал многозначительно на Панаева, как на литератора, который должен оценить его стихи. Розен пренаивно приписывал успех оперы Глинки своим стихам.

Когда Глинка стоял возле барона Розена, то выходил сильный контраст. Глинка был маленького роста, смуглый, живой, с хохолком на лбу, а барон Розен — тип немца, высокий, неподвижный, с маленькой головой, с прилизанными светлыми волосами и светлыми голубоватыми глазами, имевшими какое-то умильное выражение.

Глинка иногда посреди пения тенора Леонова с силой ударял по клавишам рояля, вскакивал со стула и начинал ходить по комнате, закинув голову и заложив пальцы за жилет. Поуспокоясь немного, он выпивал стакан красного вина, бутылка которого всегда стояла перед ним на рояли. После этих репетиций Глинка очень уставал. Я слышала, как он говорил отцу после ухода певцов, что его опера не может иметь успеха, только одна Воробьева споет роль Вани, как следует.

— Это редкая певица, — говорил он, — такие голоса появляются на сцене веками. Надо беречь ее, как драгоценность! А вот она в дождь, в слякоть поехала домой на извозчике, ну, долго ли ей простудить горло! Дирекция ваша — олухи, такой певице надо было бы назначить большое жалованье, а не грошовое, чтоб она имела комфорт! Дураки!..

Глинка горячился, говоря это.

— Разве Петровым вы недовольны? — спросил отец.

— Чувства нет, голос деревянный!..<sup>3</sup> Степанова поет верно и голос большой — огня нет! А уж кто провалит меня, так это Леонов. Где нужна сила голоса — он сипит.

Однако успех «Жизни за царя» был блистательный.

В первые годы моего замужества, то есть в начале сороковых годов, Глинка как-то периодически бывал у нас: то зачастит ходить каждый день, то перестанет. У нас он сочинил романс «В крови горит огонь желанья». Мы сидели за вечерним чаем, было несколько человек гостей.

Панаев любил читать стихи и прочел это стихотворение между другими стихами Пушкина. Глинка, расхаживавший по комнате, сел за фортепиано и стал брать аккорды, что-то мурлыча про себя. Через несколько минут он сказал: «Панаев, замолчи!» и пропел романс<sup>4</sup>.

Голоса у Глинки совсем не было, но он пел мастерски и выразительно. [...]

...Раз Глинка приехал к нам вечером, поспешно поздоровался, сейчас же сел за фортепиано и стал играть «Лезгинку» из «Руслана». Проиграв ее, он встал и сказал:

— Ехал к вам, не давал мне покоя этот мотив, так вот и звенит в ушах.

В 1844 году, в первую мою поездку за границу с мужем, в Париже мы встретились с Глинкой; он приходил к нам по вечерам с несколькими общими знакомыми, русскими путешественниками, пить чай и, по русскому обыкновению, засиживался до двух и трех часов ночи. [...]

...Глинка жалел, что в нашей парижской квартире не было фортепиан; ему часто приходила охота петь. Иногда он жаловался, что вдохновение его оставило.

— Бывало, покоя нет, так и звучат в ушах разные мелодии, а теперь только пустой шум гудит<sup>5</sup>.

Глинка гораздо ранее нас уехал из Парижа.

Весной, в пятидесятом году, я поехала, по предписанию докторов, брать морские ванны. В Варшаве я остановилась отдохнуть. Утром я поехала осматривать город; проводник из отеля, сопровождавший меня, привез меня в Саксонский сад, расположенный в центре города. В известные часы в Саксонском саду много гуляющих, и я встретила петербургского знакомого князя Г[олицына]<sup>6</sup>, которого более года не видала, хотя и знала, что он сделался варшавским жителем, но не нашла нужным извещать его о своем прибытии, так как на другой же день намеревалась уехать. После обычных расспросов Г[олицын] сказал мне:

— Знаете ли вы, что Глинка здесь?

Г[олицын] был большой поклонник Глинки, они вместе бывали у нас в Петербурге. Я знала о плохом состоянии здоровья Глинки и спросила о нем.

— Очень плохо! — с грустью ответил Г[олицын], — вы его не узнаете, так изменился он и физически, и нравственно. Он наверно захочет вас видеть, когда узнает, что вы здесь.

— И я буду рада его повидать, — отвечала я, — пусть приезжает вечером, потому что я завтра уеду из Варшавы.

— Нет, вы должны остаться хоть еще на день, потому что я вас буду просить свести Глинку в театр посмотреть, как танцуют мазурку на варшавской сцене. Я его упрашивал, но он не хочет, а вам не откажет.

Я согласилась остаться еще на день, чтобы ехать в театр.

Вечером Г[олицын] приехал ко мне с Глинкой. Я не могла скрыть своего удивления при виде Глинки: это был совершенно другой человек. Он казался полным, лицо его было одутловато и желто-синеватого цвета; взгляд апатичный, прически прежней не было, волосы лежали прямо, и вдобавок он отрастил себе усы. Прежней живости в его движениях не было и помину: он тяжело дышал, поднявшись в мой номер, тогда как нужно было сделать всего несколько ступенек; голос у него был глухой, сиповатый, и он уже не закидывал задорно своей головы.

— Что, я сильно изменился? — спросил Глинка меня. — Я очень обрадовался, узнав, что вы здесь, ведь до меня дошел слух, что вы уже скончались. Я очень жалел.

— Да, зимой я была опасно больна, но отдумала умирать,— смеясь, ответила я.

— И отлично сделали, скверно умирать, — сказал Глинка. [...]

...Подали самовар, я стала разливать чай [...] Глинка, до этого разговаривавший как-то вяло, как бы одушевился и сказал:

— Как вы мне напомнили прошлое, когда я пивал у вас чай. [...] А помните нашу встречу в Париже? как мы у вас засиживались до двух, трех часов [...]

Я поспешила переменить разговор и напомнила ему, как он ставил свою первую оперу и репетировал ее с певцами у моего отца.

— Как не помнить, тогда во мне жизнь была ключом, я тогда воображал, что десятки опер сочиню... Как только выздоровлю, запрусь в деревне и наверстаю потерянное время... Удивлю всех, мои оперы будут ставить на сцене одну за другой... Только бы мне стряхнуть с себя мерзостную полноту.

Г[олицын] завел разговор о театре в Варшаве. Я стала просить Глинку поехать со мной в театр, но он на это ответил:

— По правде вам сказать, меня теперь ничто не интересует.

Но я продолжала его упрашивать.

— Хорошо. Я поеду с вами, только с одним условием: вы несколько дней поживете в Варшаве, я к вам вечером буду приезжать пить чай да вспоминать прошлое.

На другой день утром Г[олицын] заехал ко мне на минутку известить, что он с Глинкой заедет за мной и мы вместе поедem в театр.

— Мазурку будут танцевать после драмы,— объявил он мне.

Я решила ехать попозже в спектакль, чтобы не утомить Глинку.

Глинка не заметил нашей хитрости, что мы за самоваром просидели довольно долго, стараясь развлечь его разговором.

Мы приехали к последнему акту драмы. Ложа наша была у самого края сцены, так что у нас только с одной стороны были соседи. Г[олицын] сказал нам, что возле нашей ложи будет сидеть жена наместника с сыном. Я слышала, что она была сестра Грибоедова, и посматривала на нее, отыскивая в ней сходство с братом, но не нашла<sup>7</sup>. Княгиня Паскевич была рослая и полная женщина, пожилых лет, брюнетка, с резкими чертами и с надменным выражением лица. Ее сын, очень худенький, но красивый юноша, казался еще тоньше перед матерью. Он был в офицерском мундире.

Я заметила, что из лож и из первых кресел партера зрители смотрят в бинокль на Глинку; но он этого не видел. Усевшись рядом со мной на первом месте, он положил руки на борт ложи и сонливо смотрел на всех.

Г[олицын] разговаривал с нашими соседями. Глинка безучастно глядел на игру артистов и даже, как мне казалось, подремывал. Публика в партере преобладала военная, и в ложах сидело много русских дам.

Кончилась драма. Глинка, как бы обрадовавшись, спросил меня: «домой едем». Но я ему объявила, что непременно хочу видеть, как танцуют мазурку поляки.

— Вот деспотка! — заметил Глинка и опять принял свою прежнюю позу. Но при первых звуках оркестра, который заиграл мазурку из «Жизни за царя», Глинка встрепенулся, апатия его исчезла. Как только оркестр умолк, в первых рядах кресел все встали и, обратясь к нашей ложе, начали аплодировать.

Глинка сначала не понял, что ему делают овацию, и с удивлением вопросительно поглядел вокруг. Я поспешила встать и оставить его одного. Княгиня Паскевич, смотря на Глинку, слегка похлопала в ладоши.

русские дамы в ложах последовали примеру княгини и тоже аплодировали.

Видя сияющее лицо Г[олицына], я догадалась, что все это устроил он; вот почему ему так и хотелось затащить Глинку в театр.

Г[олицыну] было легко устроить овацию; он принадлежал к высшему кругу по своему титулу и по своему богатству и в Варшаве был свой человек в доме наместника, имел много знакомых между военными, и ему стоило только оповестить всех, что Глинка будет в театре и ему следует оказать приветствие от русских.

Непосвященные зрители остались в недоумении, что значат эти аплодисменты.

Когда начались танцы, Глинка мне сказал:

— Не стыдно вам делать заговоры против вашего старого знакомого?

Он не поверил, что я не была участницей в этом деле.

После мазурки аплодисменты были оглушительные, потому что и непосвященная публика аплодировала своему национальному танцу и требовала повторения. Глинка, видимо, был утомлен, и мы вышли из ложи. Он молчал дорогой, может быть, от слабости, и дремал. Ночь была очень темная, на неосвещенной театральной площади двигались как бы блуждающие огоньки. Г[олицын] объяснил мне, что это — проводники с фонарями, которых нанимает пешеходная публика, возвращаясь из театра домой, потому что тогда варшавские улицы и переулки были так темны, что можно было поломать себе ноги. На площади у дворца, где жил наместник, пылали два большие костра, около них стояли и сидели казаки, оседланные лошади находились тут же недалеко от костра. Это был патруль, который целую ночь объезжал вокруг дворца. Когда меня подвезли к отелю, Глинка, прощаясь со мною, сказал:

— До завтра, заговорщица!

Но я более не видела Глинки. Он прихворнул, и доктор запретил ему выходить из дому несколько дней, а я уехала из Варшавы. Это была последняя моя встреча с Глинкой.

## П. П. ДУБРОВСКИЙ

### ВОСПОМИНАНИЕ О М. И. ГЛИНКЕ

Не могу еще свыкнуться с грустной и неизбежной мыслью, что вашего брата уже нет на свете...<sup>1</sup> Известие о его смерти глубоко тронуло всех, ценивших великий талант и возвышенную душу покойного. Утрата его — утрата всей образованной части России. С ним еще жила ее прежняя поэтическая слава, соединенная с именами Жуковского и Пушкина, которых песни он передавал в музыкальных звуках, можно сказать, почти в то самое время, как они создавались; песня сироты, в опере «Жизнь за царя», как слышал я от покойного, написана Жуковским; сверх того опера «Руслан и Людмила» и содержанием и стихами напоминает поэму Пушкина. И кому из любителей и знатоков музыки не известна ария из этой оперы: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями»? Он рассказал мне, что музыка на «Ночной смотр» (В двенадцать часов по ночам и проч.) была импровизирована им в присутствии обоих поэтов.

Итак, нашего Михаила Ивановича не стало!

Невольно теснятся мне в душу воспоминания о прошедшем и той дружбе которая соединяла меня с вашим братом.

Вы желали чтобы я описал вам все, что сохранилось у меня в памяти